

The background image is a dramatic, post-apocalyptic scene. It depicts a wide, desolate city street flanked by tall, dark, and heavily damaged skyscrapers. The sky is a deep, fiery red, with a large, bright, pale yellow sun or moon hanging low in the center. In the foreground, a lone figure stands with their back to the viewer, holding a large, vibrant red umbrella. The ground is covered in rubble, debris, and the remains of old cars. The overall atmosphere is one of desolation and impending doom.

Апокалипсис 2030 год

Сергей Патрушев

Сергей Патрушев

Апокалипсис 2030 год

«Автор»

2026

Патрушев С.

Апокалипсис 2030 год / С. Патрушев — «Автор», 2026

Мир рухнул в одночасье. Города превратились в пепел, небо затянуло багровой пеленой, а тишина стала страшнее любого крика. Среди руин, сквозь серый туман и бесконечную пыль, бредёт одинокий путник. Он не ищет спасения, он ищет ответ на вопрос, который жжет изнутри: зачем жить, когда всё, что было дорого, обратилось в прах? Его путь лежит на север, где, по слухам, ещё осталась живая земля. Но дорога эта не только через мёртвые города и выжженные долины. Это путешествие вглубь собственной души, где свет борется с тьмой, надежда с отчаянием, а память с желанием забыть. Каждая капля крови становятся шагом к пониманию: спасение — это не место на карте, а состояние, которое невозможно отнять. Апокалипсис 2030 год — философская притча о тонкой грани между зверем и ангелом, что живёт в каждом. О том, как даже среди пепла прорастает искра, способная осветить путь из самой глубокой тьмы.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Сергей Патрушев

Апокалипсис 2030 год

Тишина стала первым симптомом конца. Не та благословенная тишина, что окутывает заснеженный лес или пустой храм, а глухая, ватная тишина мёртвого эфира. Раньше мир был наполнен гулом — далеким рокотом мегаполисов, белым шумом миллионов экранов, вездесущим гулом серверов, что пели свою нескончаемую цифровую колыбельную. Теперь не осталось ничего. Только ветер, гуляющий по пустынным проспектам, научился говорить на языке разрушенных витрин и скрипящих на петлях дверей.

Алексей стоял на краю того, что когда-то было смотровой площадкой, и смотрел на город, который он знал тридцать лет. Теперь это был не город, а его гипсовый слепок, извлеченный из печи после неудачного обжига. Небоскребы, некогда горделиво пронзавшие облака, теперь напоминали сломанные зубы, торчащие из воспаленной десны земли. Стекло осыпалось с их фасадов, как замерзшие слезы, и теперь улицы были устланы не асфальтом, а хрустящей коркой из осколков, перемешанных с пеплом. Пепел был везде. Он въедался в одежду, в легкие, в саму душу. Это был прах цивилизации, той самой, что обещала им цифровой рай, а подарила огненную геенну.

Солнце, если его можно было так назвать, висело в зените багровым, размытым пятном. Его свет, проходя сквозь толщу взвешенной в воздухе пыли, окрашивал мир в неестественные, болезненные тона. Багровый, ржавый, охряный — цвета увядания и смерти. Краски жизни стерлись с палитры бытия, оставив лишь монохромную гамму упадка. Где-то внизу, среди бетонных руин, еще теплилась жизнь, но она была жалкой пародией на прежнюю. Это была жизнь не для созидания, а для выживания, жизнь, лишённая надежды, как небо лишено птиц.

Алексей посмотрел на свои руки. Они были покрыты въевшейся грязью, царапинами и следами от респиратора, который он почти не снимал. Когда-то эти руки уверенно печатали на клавиатуре, управляли сложными системами, держали бокал дорогого вина. Теперь они умели лишь разбирать завалы, добывать воду из ржавых труб и сжимать холодную сталь. Он поднял взгляд к горизонту, туда, где раньше сияла огнями телебашня. Теперь там был лишь покосившийся шпиль, напоминающий обломанную иглу гигантского циркуля, которым кто-то тщетно пытался измерить глубину человеческого падения.

Ветер усилился, взметнув облако пепла, и оно закружилось в медленном, гипнотическом танце, словно призраки былых дней справляли свой последний бал. Алексей прикрыл глаза, и в памяти всплыли картины прошлого, такие яркие и одновременно нереальные. Смех друзей за столиком в кафе, запах свежесваренного кофе, мягкий свет лампы над письменным столом, лицо Алисы. Ее лицо он видел чаще всего. Оно снилось ему в редкие минуты забытья, оно стояло перед глазами, когда он пил мутную воду из фляги, оно было его личной голгофой. Жива ли она? Этот вопрос, как раскаленный гвоздь, был вбит в его сознание. Он гнал от себя мысли о ней, зная, что они не принесут ничего, кроме новой волны боли, но они возвращались, как прилив.

Он знал, что не должен долго оставаться на открытом месте. Радиационный фон, токсичная пыль, мародеры — в этом новом мире опасность была повсюду, она стала его неотъемлемой частью, как воздух, которым он дышал, как пепел, что оседал на его плечах. Но это

место, этот мертвый город, давало ему странное, извращенное утешение. Здесь, среди руин, он чувствовал себя не таким одиноким. Камни были немymi свидетелями его прошлого, и в их молчании было больше понимания, чем в пустых словах живых.

Он достал из кармана старый, поцарапанный компас, доставшийся ему от отца. Это была бесполезная в эпоху GPS вещь, но теперь она обрела новый, почти сакральный смысл. Стрелка, слегка подрагивая, указывала на север. Туда, где, по слухам, еще оставались незараженные леса и чистая вода. Туда, где, возможно, было будущее. Алексей не знал, сколько еще он сможет идти. Он не знал, что ждет его за следующим поворотом. Но пока стрелка указывала путь, пока под ногами была твердая земля, а в сердце — тлеющий уголек надежды, он будет идти. Идти сквозь пепел и ветер, сквозь руины и тишину, навстречу неизвестности, которая, возможно, была единственной формой жизни, оставшейся в этом умирающем мире.

Он развернулся и, не оглядываясь, начал спускаться вниз, в серую пасть города, который когда-то звал его домом. Его силуэт, одинокий путник на фоне заката цвета запекшейся крови, медленно растворился в багровой дымке. И только ветер, вечный спутник скорби, продолжал свою заунывную песню, перебирая невидимыми пальцами струны из колючей проволоки и битого стекла.

Спуск был долгим и мучительным, но не из-за крутизны лестницы или осыпающихся под ногами ступеней. Мучительным он был из-за тишины, которая здесь, внизу, сгушалась до ощутимой, почти физической плотности. Казалось, она давит на барабанные перепонки, забирается под черепную коробку и вытесняет оттуда остатки здравого смысла. Когда-то эти стены впитывали в себя эхо тысяч шагов, гул голосов, обрывки музыки. Теперь они были глухи. Они молча хранили память о прошлом, как переполненный склеп хранит прах, не в силах ни отпустить, ни воскресить.

Алексей шел, и каждый его шаг отзывался в груди тупой, ноющей болью. Это была не физическая боль от усталости или старых ран. Это была боль иного рода — метафизическая, рожденная несоответствием между тем, что было, и тем, что стало. Рана, нанесенная не ножом, а самой реальностью. Он чувствовал себя призраком, бродящим по собственному прошлому, не в силах ни изменить его, ни окончательно с ним расстаться. Воспоминания накатывали волнами, острыми, как осколки стекла под ногами. Вот он, молодой и полный надежд, впервые входит в это здание. Вот он смеется с коллегами в лифте, обсуждая планы на выходные. Вот он смотрит в окно на ночной город, чувствуя себя частью чего-то великого и вечного. Теперь же от этого величия остался лишь серый бетонный скелет, а от вечности — бесконечная череда серых, похожих друг на друга дней.

Боль выживших была особой. Она не была похожа на острую, кричащую боль утраты, что приходит в момент катастрофы. Нет, та боль была оглушительной, она ослепляла, лишала воли, но она была честной. Боль выживших была тихой, коварной, как медленно действующий яд. Она пропитывала собой каждую клетку тела, каждую мысль, каждое сновидение. Это была боль от осознания чудовищной несправедливости: они остались, а другие — нет. Они дышат, едят, ходят по земле, в то время как те, кого они любили, стали лишь воспоминанием, прахом, развеянным по ветру. И это знание было неподъемной ношей, которую приходилось тащить на себе каждую секунду.

Это чувство вины. Она, как ржавчина, разъедала душу изнутри. Вина за то, что выжил. Вина за то, что не смог спасти. Вина за то, что радуешься глотку чистой воды или найденной

банке консервов, когда где-то там, под завалами, лежат те, кому это уже никогда не понадобится. Алексей просыпался с этой виной и засыпал с ней. Она была его тенью, его вторым "я". Он ловил себя на мысли, что завидует мертвым. Им не нужно искать пропитание, не нужно бояться каждого шороха, не нужно нести этот груз воспоминаний. Они свободны. А он — раб своего выживания.

Иногда, глядя на свое отражение в мутном осколке зеркала, он не узнавал себя. Из глубины на него смотрел старик с ввалившимися щеками, потухшими глазами и сединой, проступившей на висках, словно иней на руинах. Но страшнее всего были не внешние изменения. Страшно было то, что внутри он чувствовал такую же пустоту, как и в этих мертвых домах. Его душа стала выжженной землей, на которой уже ничто не могло вырасти. Только пепел. Только боль. Только бесконечное эхо потерь.

Он остановился, чтобы перевести дух, и оперся рукой о холодную стену. Под пальцами осыпалась штукатурка. Казалось, само здание плачет каменными слезами. Где-то вдалеке слышался звук, похожий на детский плач. Алексей вздрогнул и замер. Он знал, что это, скорее всего, просто ветер, завывающий в пустых проемах, или ослабленное крепление раскачивается на сквозняке. Но в этом звуке было столько неизбывной, вселенской тоски, что он пронзил его насквозь. Этот город был наполнен призраками. Не теми, что бродят по коридорам заброшенных замков, а теми, что живут в памяти. И их безмолвный хор был самым страшным саундтреком нового мира.

Он закрыл глаза и попытался представить себе лицо Алисы. Ее улыбку, ее голос. Но образ ускользал, рассыпался на пиксели, как помехи на экране старого телевизора. Время безжалостно стирало черты, оставляя лишь смутное ощущение тепла, которое теперь казалось почти неправдоподобным. Он боялся, что однажды проснется и не сможет вспомнить ее вовсе. Что останется только пустота. И эта мысль пугала его больше, чем все опасности этого рухнувшего мира вместе взятые. Потому что пока он помнит — он жив. Пока он чувствует боль — он человек. А если исчезнет память, что останется? Лишь оболочка, бредущая сквозь пепел в никуда.

Он оттолкнулся от стены и заставил себя идти дальше. Движение было единственным лекарством от этой внутренней агонии. Шаг за шагом, он убегал не от внешней угрозы, а от самого себя. От своих мыслей, от своей вины, от своего прошлого. Он знал, что это бессмысленно. Прошлое было вплетено в его ДНК, оно было частью его самого. Но в этом бесконечном бегстве был единственный доступный ему смысл. Идти. Не останавливаться. Не дать боли поглотить себя целиком. Идти, даже когда уже не веришь, что впереди есть хоть что-то, кроме новых руин и нового пепла.

Спуск, наконец, закончился. Он вышел на улицу, которая когда-то была одной из самых оживленных в городе. Теперь это было ущелье, зажатое между мертвыми небоскребами. Ветер здесь не гулял, а метался, как загнанный в клетку зверь, поднимая в воздух столбы пыли и мусора. Алексей поднял воротник своей истрепанной куртки и двинулся вперед, стараясь держаться теней. Каждый его шаг был шагом по кладбищу, где под ногами были не могильные плиты, а обломки его прежней жизни. И с каждым шагом он прощался с ней заново. Прощался с собой прежним. Прощался с миром, который никогда не вернется.

Он шел уже несколько часов, но расстояние здесь измерялось не километрами, а степенями внутреннего опустошения. Каждый новый квартал, каждый перекресток, каждая витрина

с выбитыми стеклами отзывались в нем не просто воспоминанием, а новой трещиной в том, что еще оставалось от его сердца. Оно болело. Болело так, словно кто-то медленно, с садистской методичностью сжимал его в кулаке, то отпуская на мгновение, то снова стискивая до хруста. Это была та самая боль в груди, которую невозможно было заглушить ни водой, ни усталостью, ни даже сном. Она появлялась не тогда, когда он спотыкался о камни, а когда взгляд его наталкивался на то, что нельзя было вернуть.

Он остановился у входа в небольшой сквер, вернее, у того, что от него осталось. Деревья, когда-то дававшие прохладу и шелестом листья успокаивавшие случайных прохожих, теперь стояли черными, обугленными скелетами. Их ветви, лишённые листьев, тянулись к небу, как скрюченные пальцы, то ли в мольбе, то ли в проклятии. Скамейка, на которой он когда-то сидел с Алисой, была опрокинута и наполовину засыпана обломками бетона. Он замер. Не от усталости, нет. Его ноги словно налились свинцом, а грудную клетку пронзила резкая, почти невыносимая вспышка. Вот она — та самая боль. Она не была метафорой, она была физическим ощущением, как если бы внутрь загнали ржавый гвоздь и проворачивали его при каждом вдохе. Он знал, что увидит, если подойдет ближе. Знал, что лучше не смотреть. Но ноги сами понесли его вперед, подчиняясь какому-то болезненному, необъяснимому зову.

Он сел на корточки возле опрокинутой скамейки и провел ладонью по ее обожженной поверхности. Когда-то она была теплой от солнца, и они сидели здесь, пили кофе, строили планы. Алиса смеялась, запрокидывая голову, и в ее глазах отражались листья, такие зеленые, что казались нарисованными. Теперь все это превратилось в пепел, в абстрактную композицию из грязи, копти и осколков. Боль в груди стала настолько острой, что он перестал дышать. Просто замер, прислушиваясь к тому, как сердце бьется о ребра, словно птица, заключенная в клетку из костей. Оно хотело вырваться, хотело перестать ощущать эту пытку, но тело упрямо продолжало жить, предательски отказываясь умирать.

Каждый выживший носил в себе такую боль. У кого-то она была тупой и фоновой, как старый перелом, ноющий к непогоде. У других — острой и внезапной, настигающей в самые неожиданные моменты: когда вдруг пахнет чем-то родным, когда случайно увидишь старую фотографию, когда поймашь себя на том, что ищешь глазами того, кого больше нет. Эта боль не имела названия и не поддавалась лечению. Она была платой за то, что они все еще дышат. Платой за каждое воспоминание, за каждую секунду, прожитую после конца. И иногда эта плата казалась непомерной.

Алексей закрыл глаза и попытался восстановить в памяти тот вечер. Запах сирени, смех Алисы, ощущение ее ладони в его руке. Но вместо этого перед внутренним взором вставала другая картина: огненный столб, поднимающийся над городом, бегущие в панике люди, крики, сливающиеся в один сплошной гул, и он сам, прижатый к земле невидимой силой, не имеющий возможности ни пошевелиться, ни кричать. Он не помнил, как потерял ее в той толпе. Помнил только, что держал за руку, а потом — пустота. И с тех пор он жил с этой пустотой внутри. Она разрасталась, как раковая опухоль, заполняя все пространство, вытесняя все остальные чувства, кроме боли. Боли, которая стала его единственным спутником. Боли, которая, как ни странно, доказывала, что он еще не умер.

Он поднялся. Медленно, с трудом, словно на плечи его давила вся тяжесть рухнувшего мира. Посмотрел на безжизненное небо, на пепел, продолжавший свой вечный танец, на мертвые деревья, что были свидетелями его счастья. Грудь горела огнем, но он заставил себя сделать следующий шаг. Потом еще один. И еще. Каждый шаг давался с боем, словно он шел по

пояс в вязкой, горячей смоле. Но он шел. Потому что остановиться — значило утонуть в этой боли окончательно. Значило сдаться. Значило позволить теням поглотить себя.

Ветер снова взвыл, и в этом вое ему почудился голос Алисы. Тихий, зовущий. Он обернулся, но увидел лишь пустую улицу, уходящую в серую бесконечность. Никого. Только пепел, только руины, только его собственное одиночество, ставшее осязаемым. Боль в груди на мгновение отступила, сменившись глухим, зияющим отчаянием. Он понимал, что этот голос ему мерещится. Но вместе с тем понимал и другое: пока ему это слышится, пока он помнит, пока болит — он все еще жив. И, возможно, в этом и заключался единственный, извращенный смысл существования в этом мертвом мире. Жить, чтобы помнить. Помнить, чтобы чувствовать. Чувствовать, чтобы оставаться человеком, даже когда человеческое вокруг исчезло без следа.

Он уходил все дальше, и его силуэт, сгорбленный под невидимой ношей, медленно растворялся в багровом мареве. Боль не утихала. Она пульсировала в каждом вдохе, в каждом ударе сердца, наполняя его существо до краев. Но он нес ее с собой, как несут драгоценный груз, как несут последнее доказательство того, что ты не пустая оболочка. И где-то в глубине, под слоем пепла и отчаяния, теплилась крохотная, едва различимая надежда, что когда-нибудь эта боль если не исчезнет, то хотя бы перестанет быть его единственным способом чувствовать.

Он не заметил, как оказался возле старой станции метро. Вход зиял черной пастью, словно разверстая глотка подземного зверя, готового проглотить любого, кто рискнет спуститься в его чрево. Ступени, ведущие вниз, были усыпаны битым стеклом, истлевшими листьями и каким-то тряпьем, в котором угадывались остатки чьей-то одежды. Оттуда, из темноты, тянуло сыростью, ржавчиной и чем-то еще — едва уловимым, но тревожным. Запахом гниющего дерева, грязного металла и давно остывшей золы. Алексей замер, прислушиваясь к этому бездонному молчанию, и где-то на периферии его сознания, как тихий звонок, зазвучала тревога.

Она была необъяснимой, животной, древней, как сам инстинкт самосохранения. Мышцы напряглись сами собой, спина выпрямилась, а рука потянулась к ножу, спрятанному под курткой. В этом мире тишина редко обещала покой. Чаще она была лишь затишьем перед бурей, завесой, за которой пряталось нечто хищное. Он научился различать оттенки этой тишины, как различают запахи в лесу. Тишина пустого дома была мягкой, уступающей, почти безобидной. Тишина мертвого города — глухой и всепоглощающей. Но эта тишина, исходившая из чрева станции, была иной. Она была плотной, как натянутая тетива, и в ней слышался едва уловимый, вибрирующий гул, словно где-то в глубине работал огромный, больной механизм.

Он не успел отступить. Из темноты, словно порожденные самой тьмой, вынырнули фигуры. Три. Четыре. Пять. Они двигались не быстро, но в их пластике было нечто, от чего кровь стыла в жилах. Это не было робостью или нерешительностью. Это была грация хищников, знающих, что добыча никуда не денется. Они появлялись бесшумно, обтекая колонны и выступы, словно были не людьми, а тенями, обретшими плоть. Их лица были изуродованы шрамами, грязью и копотью, но страшнее всего были глаза. В них не было ни злобы, ни ненависти, ни отчаяния. Только пустота. Голодная, внимательная, оценивающая. Так смотрят на камень, лежащий на дороге: отбросить ли его в сторону или, если понадобится, разбить.

Один из них, шедший первым, остановился и оскалился. Не улыбнулся — именно оскалился, как пес, заметивший соперника. Губы его разошлись, обнажив редкие, почерневшие зубы, а ноздри расширились, втягивая воздух. Он что-то коротко бросил остальным, и те отве-

тили ему гортанным смехом, похожим на карканье воронья. Это был не смех людей, умеющих радоваться. Это был лай, утверждающий превосходство, сигнал, понятный без слов: "Он наш". Они окружили Алексея полукругом, отрезая пути к отступлению. Их тела были напряжены, словно сжатые пружины. В руках у одного блеснул обломок арматуры, у другого — зазубренный кухонный нож, у третьего — цепь, обмотанная вокруг кулака.

Главарь сделал шаг вперед. Он был выше остальных, но худоба его казалась болезненной, противоестественной. Кожа, обтягивающая скулы, была серой, как старый бетон, а на шее, покрытой струпьями, виднелись следы каких-то инъекций или укусов. Он остановился в нескольких метрах от Алексея и склонил голову набок, словно изучая незнакомый предмет. В его глазах, белесых, как у дохлой рыбы, не было ни искры разума. Лишь холодное, расчетливое любопытство. Затем он медленно, с видимым удовольствием, провел краем своей ржавой цепи по бетонному столбу. Раздался скрежет, пронзивший уши, и эта какофония, этот звук насилия над вещью, словно подстегнул остальных. Они начали переминаться с ноги на ногу, постукивать оружием по стенам, сплевывать и издавать те самые низкие, утробные звуки, похожие на рычание.

Алексей стоял неподвижно. Внутри все сжалось в ледяной ком, но внешне он не выдавал страха. Он знал, что в таком состоянии — состоянии охоты — эти существа особенно чутки к запаху чужого ужаса. Он медленно, не делая резких движений, вытащил нож. Сталь тускло блеснула в багровом сумеречном свете. Главарь снова оскалился, но на сей раз в его оскале мелькнуло нечто новое — уважение, замешанное на презрении. Ему нравилось, что жертва сопротивляется. Это делало игру интереснее.

— Ну что, чистенький, — прохрипел он, и голос его был скрипучим, как несмазанная дверь. — Слов не будет?

Слова падали из его рта, как камни, тяжелые, шершавые, лишённые интонации. Это была не речь, а скорее ее имитация, механическое воспроизведение звуков, давно утративших смысл. Остальные заулюлюкали, заскрежетали чем-то по асфальту, и этот хор, это музыкальное сопровождение агрессии, наполнило улицу отвратительной, липкой энергией. Воздух сгустился, стал тяжелым, как перед грозой. Даже ветер, казалось, замер, притаился, не желая вмешиваться в то, что должно было произойти.

Алексей почувствовал, как адреналин начал разливаться по венам, вытесняя апатию и тоску. Боль в груди, мучившая его весь день, отступила, уступив место холодной, кристальной ясности. Он видел каждого, считывал мельчайшие детали: как один из нападавших переносит вес с ноги на ногу, как второй облизывает пересохшие губы, как третий сжимает и разжимает пальцы на рукоятке ножа. Это была не просто агрессия, это был ритуал, танец, предваряющий убийство. И он, Алексей, был в нем главной, хоть и невольной, фигурой.

Он не собирался умирать здесь, у входа в подземелье, среди этого звериного воя и смрада. Не теперь. Не так. Где-то глубоко внутри, под спудом боли и памяти, проснулось нечто древнее и неукротимое. Жажда жизни, грязной, изломанной, но его собственной. Он перехватил нож удобнее и слегка присел, готовясь к рывку. Главарь, заметив это, перестал ухмыляться. Лицо его исказила гримаса, в которой слились ярость и предвкушение. Он дернул головой, и стоя, как по неслышной команде, бросилась вперед. Улица взорвалась шумом: хриплым криком, лязгом металла и топотом ног, шаркающих по пеплу. И в этом шуме не было ничего человеческого.

Только голая, первобытная, ничем не прикрытая злоба, вырвавшаяся на свободу из глубин, куда цивилизация загоняла ее тысячелетиями.

Удар обрушился на него, как лавина. Он не успел ни уклониться, ни даже вдохнуть, как нечто тяжелое и ржавое обрушилось на его плечо, сбив с ног и швырнув на усыпанную осколками мостовую. Перед глазами вспыхнул белый, обжигающий свет, мир перевернулся, а в ушах зазвенело так, будто внутри черепа разбили тысячу стеклянных колоколов. Боль пришла не сразу — сначала было оцепенение, то самое вязкое, ватное оцепенение, когда тело, словно не веря в произошедшее, отказывается подчиняться. А затем, резко, без предупреждения, она пронзила его насквозь — острая, огненная, раздирающая мышцы и выкручивающая суставы. Он закричал, но крик его потонул в хрипе и кашле, потому что рот мгновенно наполнился теплой, солоноватой влагой, отдающей медью.

Они навалились на него всей стаей. Их руки, похожие на когтистые лапы, хватали за куртку, за волосы, за нож, который он все еще сжимал в судорожно сведенных пальцах. Они не говорили. Только рычали, пыхтели, издавали те самые утробные, звериные звуки, в которых не было ничего, кроме желания сломать, разорвать, уничтожить. Алексей сопротивлялся, движимый уже не разумом, а слепым инстинктом. Он брыкался, наносил беспорядочные удары, чувствуя, как сталь встречает то кость, то плоть, но противников было слишком много. Их злоба была неистощима, их сила — удвоена безумием. Один из них, тот самый главарь, навис над ним, перекрывая и без того тусклый свет, и поднял свою цепь, чтобы обрушить ее снова. В этот миг Алексей увидел в его глазах нечто, от чего внутренности скрутило ледяным жгутом: не гнев, не голод, а чистое, незамутненное удовольствие. Он наслаждался. И это было последнее, что отпечаталось в сознании, прежде чем тьма сомкнулась.

Он очнулся не сразу. Возвращение к реальности было медленным, мучительным, состоящим из разрозненных осколков ощущений. Сначала — холод. Пробирающий до костей, липкий, могильный холод, проникающий через одежду, через кожу, в самые глубины. Затем — тишина. Вязкая, глухая, прерываемая лишь звуком собственного дыхания, тяжелого, со свистом, словно в груди поселился старый, ржавый механизм. И уже потом, последним, пришло ощущение боли. Оно было повсюду, во всем теле, без начала и конца. Боль пульсировала в затылке, ныла в боку, жгла левое плечо, где, как он чувствовал, ткань пропиталась чем-то теплым и липким. Каждая попытка пошевелиться отзывалась новой вспышкой агонии, словно в него вонзались десятки раскаленных игл.

Он лежал на чем-то жестком и холодном, вероятно, на бетонном полу. Глаза, заплывшие и опухшие, открывались с трудом, но даже сквозь узкие щелки он различил очертания окружающего пространства: полуразрушенная комната, обвалившийся потолок, через проломы в котором сочился жидкий, болезненный свет то ли раннего утра, то ли позднего вечера. Стены, покрытые копотью и трещинами, напоминали кору мертвого дерева. Рядом валялись обломки мебели, груды тряпья и битого кирпича. В воздухе стоял тяжелый, тошнотворный запах разложения, смешанный с пылью и чем-то химическим, едким.

Он попытался приподняться, и это усилие едва не вырвало из его груди стон. Перед глазами поплыли багровые круги, к горлу подкатила дурнота. Но он заставил себя сесть, опираясь на здоровую руку, потому что знал: оставаться лежать — значит умереть. Возможно, не сразу, но смерть в таком месте не бывает скорой. Она приходит медленно, через заражение, через голод, через безумие. Он стиснул зубы и, преодолевая боль, огляделся в поисках того, что стало причиной его недавних мыслей. Того, что он увидел, прежде чем провалиться в небытие. В

тот последний миг, когда сознание уже гасло, взгляд его выхватил нечто блеснувшее среди грязных лохмотьев, надетых на главаря. Маленький металлический футляр, выпавший из его кармана во время борьбы.

Он увидел его и сейчас. Тот лежал в нескольких метрах, возле груды осыпавшейся штукатурки, поблескивая в тусклом свете, словно глаз какого-то подземного существа. Алексей, преодолевая головокружение, пополз. Каждое движение отзывалось в теле такой мукой, что он несколько раз едва не терял сознание. Но какая-то неведомая сила, не имеющая отношения ни к разуму, ни к воле, толкала его вперед. Он полз, цепляясь за пол обломанными ногтями, оставляя за собой мокрый, темный след. Наконец, пальцы его сомкнулись на холодном металле. Футляр был тяжелее, чем казался, и неожиданно теплым, словно хранил в себе чужое, ворованное тепло.

Он открыл его. Внутри, на бархатной подкладке, давно потерявшей свой цвет, лежало нечто, от чего его сердце, все это время бившееся вяло и неровно, пропустило удар. Это был шприц. Не самодельный, из тех, что он видел у мародеров, а настоящий, медицинский, в стерильной упаковке, с тонкой, блестящей иглой. И ампула. Стекло, с желтоватой жидкостью, в которой, если посмотреть на свет, плавали микроскопические пузырьки. Этикетка давно стерлась, но на ней еще можно было различить полустертые буквы и цифры, складывающиеся в слова, которые он не мог прочесть, но значение которых угадывал безошибочно. Это было лекарство. Обезболивающее. Сильное. Возможно, последняя доза, которую берег на черный день тот, кто уже не успел ею воспользоваться.

Руки его дрожали. Он знал, что такие препараты опасны. Знал, что они вызывают привыкание, затуманивают разум, превращают человека в безвольную марионетку. Но боль, пульсирующая в каждой клетке его изуродованного тела, была сильнее любых предостережений. Она была не просто ощущением. Она была существом, паразитом, пожирающим его изнутри. Она мешала думать, мешала дышать, мешала существовать. И он сделал то, что сделал бы на его месте любой, измученный страданием. Он достал ампулу, отломил горлышко, не почувствовав, как стекло порезало палец, набрал жидкость в шприц. Игла вошла в вену на руке, туда, где кожа была меньше всего повреждена. Он медленно надавил на поршень.

Сначала ничего не произошло. Лишь легкое жжение в месте укола, отдающее в локоть. Он уже решил, что препарат испорчен или что это не то, чем кажется. Но вдруг, откуда-то из глубины позвоночника, начало подниматься тепло. Мягкое, обволакивающее, как волна летнего моря. Оно распространялось по телу, затапливая собой каждую клетку, каждое нервное окончание. Боль стала отступать. Не исчезать, но отдаляться, терять остроту, превращаться из пронзительного крика в далекое эхо. Мышцы, сведенные судорогой, расслабились. Дыхание выровнялось, стало глубоким и ровным. Ему показалось, что он парит, что тело его больше не принадлежит этому миру, а душа, освобожденная от оков страдания, воспарилла куда-то вверх, к тусклому свету, льющемуся сквозь проломы в потолке.

Он откинулся на холодный бетон и закрыл глаза. Впервые за долгое время в груди не было той чудовищной, сводящей с ума боли. Впервые за многие месяцы он почувствовал нечто, отдаленно похожее на покой. И в этом эфемерном, химическом забытии, где реальность отступила, а границы между прошлым и настоящим размылись, он снова увидел ее. Алису. Она стояла посреди цветущего сада, которого никогда не существовало, и улыбалась ему той самой улыбкой, ради которой он когда-то был готов на все. Вокруг не было ни пепла, ни руин, ни смрада. Только свет, только зелень, только ее смех, рассыпающийся колокольчиками. Он про-

тянул к ней руку, но она лишь помахала ему издалека, как бы говоря: "Не сейчас. Еще рано". И он послушно опустил руку, наслаждаясь этим мигом, этим недолгим, украденным у смерти счастьем.

Но где-то на самой границе сознания, там, куда еще не добралось действие препарата, продолжала тлеть мысль. Мысль о том, что это забвение — лишь отсрочка. Что раны его серьезнее, чем кажутся. Что время, отпущенное ему этим ворованным лекарством, истекает с каждой секундой. И что когда действие его закончится, боль вернется. Вернется с утроенной силой, как возвращается все, от чего пытаешься убежать. Но сейчас, в этой блаженной прострации, он позволил себе не думать об этом. Позволил себе просто быть. Просто дышать. Просто жить. Пусть даже это была иллюзия. Иногда, в мире, где реальность превратилась в бесконечный кошмар, иллюзия — единственное, что остается.

Когда действие лекарства начало ослабевать, он не почувствовал ни горечи, ни сожаления. Лишь странную, зыбкую благодарность за эти несколько минут, которые вернули ему нечто давно утраченное. Не просто способность дышать без боли, но способность видеть за пределами серой, удушающей пелены, что окутывала мир. Видение цветущего сада, такое яркое и живое, теперь казалось ему не просто химической галлюцинацией, а посланием, мостом, переброшенным из его прошлого в его будущее. Оно говорило ему: то, что ты потерял, не исчезло навсегда. Оно лишь спрятано, погребено под слоем пепла, как семя, ждущее своего часа.

Он сел. Медленно, но уже не так мучительно. Тело ломило, как после долгой болезни, но острая, сводящая с ума боль отступила, превратившись в тупую, терпимую усталость. Рана на плече, перетянутая обрывком рубахи, саднила, но не кровоточила. Он поднял глаза к пролому в потолке и увидел небо. И впервые за долгое время оно не показалось ему могильной плитой. В его болезненной бледности, в размытых пятнах облаков, подсвеченных ржавым солнцем, угадывалось что-то иное. Не угроза, не равнодушие, а обещание. Смутное, едва различимое, но все же присутствующее. Словно сама природа, измученная и истерзанная, все еще не потеряла способности прощать и возрождаться.

Он поднялся на ноги. Пошатнулся, ухватился за обломок стены. Голова закружилась, но он устоял. Сделал первый шаг, потом второй. Каждый давался с трудом, но в нем уже не было той обреченности, что сопровождала его все эти месяцы. В нем появилось нечто новое, незнакомое, чему он сам не сразу нашел название. Это была не эйфория, не искусственный подъем, вызванный препаратом. Это было тихое, глубокое чувство, похожее на тонкий росток, пробивающийся сквозь трещину в асфальте. Надежда. Он почти забыл, какая она. Забыл, что она не кричит, не требует, не жжет. Она просто есть. Она тихо пульсирует где-то под ребрами, как второй, потаенный источник тепла, не зависящий ни от погоды, ни от обстоятельств, ни от злобы этого мертвого мира.

Он выбрался из своего укрытия на улицу. Город все так же лежал перед ним, изломанный и безмолвный, но теперь он видел его иначе. Не как кладбище, а как пустошь, ждущую первых всходов. Там, где вчера он замечал лишь пыль и запустение, сегодня его взгляд выхватывал детали, говорившие о том, что жизнь не ушла окончательно. В трещине асфальта, у самого порога разрушенного дома, он увидел крошечный росток. Бледно-зеленый, упрямый, пробившийся сквозь толщу мертвого камня. Он был так мал и так нелеп в этом царстве бетона, что Алексей невольно остановился. Этот росток был символом. Доказательством. Свидетелем.

Природа не сдалась. Она отступала, умирала, но не сдавалась. И в этом молчаливом упорстве было больше величия, чем во всех творениях человеческих рук, обратившихся в прах.

Он пошел дальше. Мимо остова сгоревшей машины, на крыше которой ветер раскачивал обрывок провода, словно маятник, отсчитывающий новое время. Мимо витрины, за которой манекены лежали вперемешку с обломками, как павшие солдаты неведомой армии. Мимо фонарного столба, на котором чудом уцелел старый, выцветший плакат с изображением улыбающейся семьи и надписью, от которой осталось лишь одно слово: "Будущее". Он остановился у этого плаката и долго смотрел на него. И впервые за много недель на его израненном, покрытом шрамами лице появилось подобие улыбки. Не злой и не горькой, а задумчивой, словно он разговаривал с тем, кого потерял, но не забыл.

Он не знал, есть ли где-то еще выжившие, подобные ему. Не знал, существуют ли острова безопасности, о которых шептались в очередях за водой. Но теперь это было неважно. Важно было то, что внутри него снова зажегся свет. Слабый, колеблющийся, как пламя свечи на сквозняке, но живой. И этот свет был сильнее страха, сильнее боли, сильнее самой смерти. Он наполнял его решимостью идти дальше, даже когда дорога казалась бесконечной. Идти не потому, что за спиной гибель, а потому, что впереди — неизвестность, в которой, возможно, есть место не только выживанию, но и жизни. Настоящей, полной, осмысленной. Жизни, ради которой стоило терпеть все это.

Он снова вспомнил Алису. Теперь в его памяти она была не просто ускользающим образом, а спутницей, идущей рядом. Он чувствовал ее присутствие в каждом порыве ветра, в каждом луче солнца, пробивающемся сквозь дымку. Она не звала его за собой, не упрекала. Она просто была с ним, как была всегда. И он знал, что ради нее, ради той жизни, что они не успели прожить, он должен идти. Искать. Надеяться. Он сжал в кармане пустой металлический футляр — единственное, что осталось от чужого спасения, — и пообещал себе, что найдет его предназначение. Найдет то, ради чего все это было. Людей. Чистую воду. Землю, не отравленную пеплом. Или хотя бы просто — рассвет, в котором будет больше света, чем тьмы.

Он шел на север, туда, где, по преданиям, еще не наступил конец света. Туда, где зима сменялась летом, а небо не было вечно багровым. Он шел сквозь руины, но больше не чувствовал себя их пленником. Потому что у него снова была цель. Пусть смутная, пусть почти нереальная, но она была. И она вела его вперед, как путеводная звезда ведет моряка через шторм. Мир вокруг все еще был страшен и враждебен, но в сердце у него больше не было пустоты. Там, в самой глубине, вопреки всему, снова расцветал сад. Тот самый, из видения. Сад надежды, который не могли сжечь ни огонь, ни пепел, ни само время.

Он шел уже несколько часов, не останавливаясь, не оглядываясь, ведомый лишь компасом и тем новым, едва теплящимся чувством внутри, которое оказалось сильнее усталости. Город постепенно редел. Разрушенные небоскребы уступали место пригородам, где когда-то стояли тихие улочки, утопавшие в зелени. Теперь зелень была лишь пеплом, а дома — обгоревшими коробками, зияющими пустыми глазницами окон. Дорога, ведущая на север, была усеяна остовами автомобилей, и ему приходилось петлять между ними, как по лабиринту, из которого нет выхода. Но даже здесь, среди этой мертвой механики, он замечал знаки: след ботинка в засохшей грязи, обрывок веревки, завязанный узлом на перилах моста, царапины на столбе, словно кто-то помечал путь. Он не был один. Где-то рядом, возможно, за несколько кварталов, шли такие же, как он. Или уже не шли.

Он вышел к развязке, где бетонное полотно дороги вздыбливалось, расколотое то ли взрывом, то ли землетрясением. Внизу, под эстакадой, лежала долина, затянутая серо-желтым туманом. Там, среди обломков моста и переплетения арматуры, торчащей в небо, как ребра доисторического чудовища, что-то блеснуло. Не блеснуло даже, а мигнуло. Короткий, едва различимый росчерк света, который невозможно было спутать ни с отблеском солнца на металле, ни с бликом на битом стекле. Это был свет, созданный рукой человека. Он мигнул снова, настойчивее, словно отчаянный крик, переведенный на язык фотонов.

Алексей остановился и прищурился, вглядываясь в туманную мглу. Сердце его забилося быстрее. Этот сигнал был похож на азбуку Морзе: три короткие вспышки, пауза, снова три короткие. Три, пауза, три. Три, пауза, три. Универсальный крик о помощи, вбитый в подсознание человечества еще с тех времен, когда радиоволны были единственным способом докричаться до далеких берегов. Сигнал бедствия. Он шел не из недр разбитого города, а откуда-то снизу, из тумана, клубящегося под эстакадой. Оттуда, где не могло быть ничего живого, если верить законам нового мира.

Он замер, прислушиваясь. Ветер доносил только привычный шелест пепла и далекий скрип, похожий на стон ржавого металла. Но теперь этот шум казался другим. В нем была тревога. Алексей посмотрел на компас, затем на дорогу, ведущую на север, затем снова на туман. Путь его был прям и понятен. Он знал, куда идти. Но этот зов, этот отчаянный свет, мигающий внизу, как пульс умирающего, не позволял ему сделать ни шагу. Он был слишком человечен, слишком знаком. Это могла быть ловушка. Очень часто в этом мире крик о помощи был лишь приманкой, а свет — фонарем в руках палача. Но что, если нет? Что, если там, внизу, кто-то действительно нуждается в нем? Что, если этот кто-то — последний шанс не просто выжить, а остаться человеком?

Он начал спуск. Осторожно, перебираясь через груды щебня и скользкие от мха обломки. Туман сгущался, становился плотным, как вата, заглушая звуки и искажая расстояния. Каждый шаг отдавался под ногами хрустом, и этот хруст казался оглушительным в этом зыбком безмолвии. Свет продолжал мигать, теперь он был ближе и ярче. Он бился, как сердце, сжатое в чьей-то невидимой руке. Вскоре Алексей разглядел источник. Это был не фонарь и не прожектор. Это был старый, разбитый смартфон, подвешенный на проволоке к торчащему из земли штырю. Его экран, покрытый трещинами, но все еще живой, посылал в мир свой последний, предсмертный сигнал. Он мигал снова и снова, с маниакальной настойчивостью, словно молил о том, чтобы его увидели.

Алексей приблизился. Возле штыря, наполовину засыпанное обломками, лежало тело. Точнее, то, что от него осталось. Одежда истлела, кожа приобрела цвет сухой глины. Рядом валялся рюкзак, из которого высыпалось его содержимое: пустые бутылки, какие-то тряпки, бесполезные ключи от мира, которого больше не существовало. И записка. Прижатая камнем, чтобы не унес ветер. Алексей нагнулся и поднял ее. Бумага была влажной, буквы, написанные торопливым, прыгающим почерком, расплылись, но разобрать было можно.

"Если кто-то нашел это — значит, я не успел. Не ищи меня. Я ушел туда, где нет боли. Мой телефон — последнее, что осталось. Не знаю, сколько он протянет, но пока он мигает, я как будто еще здесь. Если ты видишь этот свет — не отворачивайся. Значит, ты жив. Значит, не все кончено. Иди на север. Там я слышал голоса. Там что-то есть. Не сдавайся. Я не смог, а ты сможешь. Просто иди."

Он перечитал записку несколько раз, ощущая, как внутри разрастается странное чувство. Не страх, не печаль, а глубокая, почти невыносимая связь с этим незнакомцем, которого он никогда не знал, но чьи слова теперь звучали в его голове, как завещание. Он был не один. Даже умирая, этот человек оставил после себя не мольбу, а напутствие. Не отчаяние, а надежду, переплавленную в простые, обжигающие строки. И свет, который он оставил после себя, продолжал звать, уже не о помощи, а о том, чтобы тот, кто придет следом, не остановился.

Алексей осторожно снял телефон с проволоки. Тот обжигал холодом, но продолжал мигать, посылая в пустоту свой белый, прерывистый свет. Он не стал гасить его. Вместо этого он положил его в нагрудный карман, туда, где раньше носил фотографию Алисы, которую потерял в суматохе. Теперь этот пульсирующий свет был рядом с сердцем, и ритм его казался живым, настоящим. Он постоял еще немного над тем, что осталось от незнакомца, и молча поклонился. Не как покойнику, а как тому, кто передал ему факел. Затем развернулся и, не оглядываясь, начал выбираться из тумана.

Свет в кармане мигал, словно второе сердце. И в этом мигании было обещание. Пока горит — не все потеряно. Пока пульсирует — есть куда идти. Где-то там, на севере, за этим серым маревом, есть голоса. Есть жизнь. Есть, возможно, рассвет, который он уже почти перестал ждать. И теперь он шел не один. С ним были слова, оставленные на клочке бумаги, свет, рожденный в недрах мертвого устройства, и тихая, но неумолимая уверенность, что он дойдет. Обязательно дойдет. Сквозь туман, сквозь холод, сквозь собственный страх. Дойдет, потому что теперь у него был не просто маршрут. У него была вера, оставленная тем, кто уже не смог. И в этом была его новая, едва родившаяся, но уже неукротимая сила.

Туман не отпускал. Он оббивал ноги, цеплялся за полы куртки, сочился в легкие сыростью и запахом гари, смешанным с чем-то тошнотворно-сладким. Алексей брел сквозь эту белую, клубящуюся мглу, ориентируясь лишь на едва различимые контуры разрушенных опор, что высились по сторонам, как каменные стражи. Свет в нагрудном кармане все еще пульсировал, но теперь уже не так часто, словно телефон слабел, отдавая ему остатки своей предсмертной энергии. И именно тогда, на границе между глухим безмолвием и этим зыбким, обманчивым спокойствием, он услышал их. Крики.

Сначала он решил, что это снова игра воображения. Слишком часто в этом мире звуки рождались не из реальности, а из измученной, перегретой психики. Но этот звук был иным. Он не походил ни на вой ветра, ни на скрип металла, ни на шорох осыпающегося камня. Это был человеческий голос. Высокий, срывающийся, переполненный таким ужасом и такой мольбой, что у Алексея холод прошел по позвоночнику, а руки сжались в кулаки. Голос звал на помощь. Он повторял одно и то же слово, захлебываясь, словно кричащему не хватало воздуха, но он продолжал, снова и снова, как заведенный, как если бы сама надежда была последним, что у него осталось.

Алексей замер. Крик донесся откуда-то из тумана, слева, где громоздились рухнувшие плиты и переплетения арматуры. Он был не один. Там, впереди, кто-то живой, кто-то напуганный до полусмерти. И этот кто-то не мог освободиться сам. В паузах между криками слышались всхлипы, торопливые, панические, а иногда — звук ударов, будто человек бил кулаком по бетону, обессилев, но не сдаваясь. Это было невыносимо. В этом голосе была вся боль мира, вся беспомощность, все отчаяние, которое он, Алексей, слишком хорошо знал по себе.

Он двинулся на звук. Туман сгушался, делая видимость почти нулевой, но он шел, ведомый уже не зрением, а слухом. Крики то затихали, то разгорались с новой силой, и в этой смене ритма было что-то гипнотическое. Они вибрировали в воздухе, отражались от руин, искажались, становились похожими на многоголосый хор, но сквозь все эти искажения пробивалась одна, единственная нота — отчаянный, животный призыв. "Помогите! Кто-нибудь! Пожалуйста!" — слова падали, как удары молота, и каждое из них отзывалось в груди Алексея глухой болью.

Он ускорил шаг, спотыкаясь о камни, царапая руки о ржавые прутья. Сердце колотилось где-то в горле. Он уже не думал о том, что это может быть ловушкой, что туман скрывает не только страдающего, но и тех, кто эту страду устроил. Есть вещи, на которые нельзя закрывать глаза, даже если это грозит смертью. Он слышал крик, и он не мог пройти мимо. Потому что сам был тем, кто когда-то звал, и никто не пришел. Потому что поклялся себе, что если выживет, не повторит этой ошибки.

Наконец, туман расступился, и он увидел. У подножия огромной бетонной плиты, придавившей к земле груды мусора, лежал человек. Точнее, полусидел, полулежал, придавленный обломком. Ноги его были зажаты между камнями, а сам он, выгнувшись в неестественной позе, продолжал слабо бить ладонью по земле, словно надеясь, что кто-то услышит не только голос, но и этот стук. Лицо его, перекошенное болью, было покрыто грязью и слезами. Глаза, широко раскрытые, смотрели в пустоту, не видя. Он уже не кричал, а хрипел, выдыхая из себя последние слова, ставшие заклинанием: "Помогите... Не бросайте... Я здесь... Я живой..."

Алексей бросился к нему. Колени ударились о щебень, но он не почувствовал боли. Он склонился над придавленным, пытаясь разглядеть его лицо в тусклом, рассеянном свете. Мужчина. Молодой, может, чуть младше его самого. Грязная, окровавленная одежда, правая рука неестественно вывернута. Голос его сорвался в шепот, когда он заметил приближение. В его глазах, только что пустых, вспыхнуло нечто, похожее на безумие надежды.

— Ты слышишь? Ты слышишь? — залепетал он, хватая Алексея за рукав. — Я знал, что кто-то придет. Я знал. Я не сумасшедший. Я живой. Я еще живой. Вытащи меня. Пожалуйста. Вытащи.

Алексей положил руку ему на плечо, пытаясь успокоить. Слова давались с трудом, потому что изнутри поднималась волна какой-то горячей, почти невыносимой ярости на этот мир, который продолжает терзать тех, кто уже на грани. Он начал разгребать камни, оттаскивать обломки, чувствуя, как рвутся ногти, как кровь из содранных ладоней смешивается с пылью. Но плита была слишком тяжелой. Она не поддавалась. Мужчина, понимая это, заскулил, как раненый пес, и снова ударил кулаком по бетону.

— Не бросай меня. Пожалуйста. Я не хочу умирать. Не сейчас. Только не так. Я столько прошел. Я слышал голоса. Там, на севере. Люди. Живые. Я должен был дойти. Я должен был... — он всхлипнул и зажмурился, из-под век его потекли слезы, оставляя светлые дорожки на грязных щеках.

Алексей стиснул зубы. Он не знал, что ответить. Он не был спасателем. У него не было инструментов, не было сил, не было возможности поднять эту проклятую плиту. Но в нем поднималось нечто, чего он не мог объяснить. Не просто сострадание, а глухая, железная решимость сделать все, что в его силах. Пусть даже невозможное. Он встал, уперся спиной в плиту и

надавил, напрягая каждый мускул, каждую жилу. Лицо налилось кровью, в глазах потемнело. Плита даже не шелохнулась. Мужчина смотрел на него с надеждой, которая медленно, мучительно начала гаснуть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.